

*Не знаю, близко ль, далеко ль, не знаю,  
В какой стране и при луне какой,  
Веселая, забытая, родная,  
Звучала ты, как песня за рекой.  
Мед вечеров — он горестней отравы,  
Глаза твои — в них пролетает дым,  
Что бабы в церкви — кланяются травы  
Перед тобой поклоном поясным.  
Не мной ли на слова твои простые  
Отыскан будет отзвук дорогой?  
Так в сказках наших в воды колдовские  
Нырять гусь за золотой серьгой.  
Мой голос чист, он по тебе томится  
И для тебя окидывает высь.  
Взмахни руками, обернись синицей  
И щучьим повелением явись!*

Так писал двадцатидвухлетний Павел Васильев...

...А в двадцать семь он был до смерти истерзан в расстрельных подвалах лефортовской тюрьмы и поспешно брошен в общую могилу на московском кладбище «невостребованных прахов». Страна, устремленная в светлое будущее, не заметила, что потеряла гения...

Машина репрессий перемалывала на всякий случай все, что не построилось и не шагало в ногу. Для поэтов не было исключений. Мало ли их еще нарождает бескрайняя Русь.

Да вот что-то не родилось в ней с тех пор поэта с дарованием сравнимой силы!..  
А он так открыто и иступленно любил Родину, не оглянувшуюся ему вослед:

*...Моя Республика, любимая страна,  
Раскинутая у закатов,  
Всего себя тебе отдам сполна,  
Всего себя, ни капельки не спрятав.*

*Пусть жизнь глядит холодною порой,  
Пусть жизнь глядит порой такую злою,  
Огонь во мне, затепленный тобой,  
Не затушу и от людей не скрою...*

Взращенный «народом равнинным» и с колыбели видевший над собой «Коровьи морды», которые «Склонялись мыча», он с восторгом принимал «грохочущую периферию», приветствовал надвигающуюся индустриальную жизнь и юношески открыто разглядывал встающие в просторах новой России пролетарские города, воспевая их сначала немного по-маяковски, а потом уже, несомненно, по-своему:

*...Дождь идет. Недолгий, крупный, ранний.  
Благодать! Противиться нет сил!  
Вот он вырос, город всех мечтаний,  
Вот он встал, ребенок всех восстаний, —  
Сердце навсегда мое прельстил!..*

«У прошлого гостить» не желая, молодой поэт всем сердцем принимал «самую мучительную из перемен» и верил в грядущее:

*...Я счастлив, сердце, — допыана,  
Что мы живем в стране хорошей,  
Где зреет труд, а не война...*

Ему, полному «веселой верой в новое бессмертье», «Выстоять и умереть не тяжело За страну мечтаний и побед».

Он ли не свой?! Молодой, красивый, смелый, талантливый. Русский... Слишком смелый, слишком талантливый, слишком русский... Не ко времени. Поэтому его не стало.

Но возможно ли сокрыть в потемках смутного прошлого, в утробе революционного «джута» слепящую вспышку гения? Высшая справедливость, которая вершится не на земле, но через людей, состоит в том, что мы, стремительно уносящиеся в новое тысячелетие от той кровавой вакханалии, узнаем сегодня о его судьбе, проступающей из желтизны архивных бумаг и памяти близких, с трепетным восторгом читая его необыкновенные стихи. Он возвращается Родине, как сын матери.

Но с Родиной тоже многое происходит... И быть сегодня просто его читателями — недостаточно.

«Знаете ли вы поэта Павла Васильева?» — спрашивала я у разных знакомых. Это были учителя русского языка и литературы, кандидаты и доктора всевозможных наук, работники институтов и университетов. Почти все ответили, что *не знают*... И какая-то виноватость звучала в голосах немало образованных людей, хотя виноваты они не были. Говорить сегодня об окончательном возвращении Павла Васильева своему народу приходится с грустью.

Но лично мне очень хочется поблагодарить тех людей, которые занимались и занимаются его возвращением уже многие годы. Особая благодарность создателю и директорам музея: Лидии Бунеевой, Любви Кашиной и Закие Мерц.

Деревянный родительский дом в Павлодаре постройки 1866 года, где прошло детство поэта, стал музеем его имени и хранит десять тысяч экспонатов, собран-

ных васильведами. Они берегут здание, пытаются восстановить и зафиксировать каждый штрих трагической судьбы, устранить расхождения, которые снова и опять встречаются в биографических исследованиях. В стенах «васильевского заповедника» проводятся экскурсии, музыкально-поэтические встречи, молодежные творческие конкурсы; работает литературное объединение. Бывают здесь и зарубежные гости.

Однако у дома-музея есть свои сложности. Сорок четыре квадратных метра все теснее обступаются коттеджами-новостройками «новых казахов» и «новых русских». Бульдозеры не жалеют знаменитой прииртышской земли, на которой родились первые стихи Павла Васильева. Сюда он всегда возвращался памятью, где бы ни находился, особенно, когда было трудно: *«Тогда хоть цепями память стреножь, А вспомнишь о Павлодаре»*. Отсюда он шестнадцатилетний отправился навстречу далеким незнакомым ветрам: *«И вот настало время для элегий: Я уезжал. И прыгали в овсах Костистые и хриплые телеги. / Да, мне тогда хотелось сгоряча... Чтоб жерди разлетелись, грохоча...»* Так он уезжал, решительно «отрывался» от детства, но сердце хранило черты родины в самых потаенных уголках: *«Зажмурь глаза — по сердцу пробегут Июльский гул и лепет сентябриный. / Амбары, палисадник, старый дом В черемухе, Приречных ветров шалость... / И даль маячит старой колокольной»*.

Потребность исканий и странствий — особая черта русского человека, порожденная просторами родины. Для певца, бояна, странствие имеет особое значение. В это время, видимо, наполняется пережитым душа и осмысливается жизнь, возвращая человека от чужбины к истокам, и тогда рождается полная драматизма строка: *«Как перенести я расставанье смог»...*

География мест, в разной мере причастных к его судьбе, обширна: восточно-казахстанский Зайсан, где он родился; Павлодар, где вырос; Владивосток, в котором состоялся дебют его публичного выступления, угольные копи Сучана, ленские золотые прииски, города Сибири и, наконец, европейские края Советской Республики. Везде, где он бывал, его считают своим и стараются сохранить память о встречах. Так возникли омская, рязанская, новосибирская и другие страницы его жизни.

Но особняком в судьбе поэта стоит московская страница... Она подробно исследована на архивных документах с Лубянки в документальном очерке Валентина Сорокина «Дело № 11245».

Вдыхая волнуемый продувной воздух столицы, казахстанский, по своей формально-географической прописке, поэт Павел Васильев уверенно ворвался в большой литературный процесс, имея «в песнях сноровку». Ворвался вдохновенным потоком яркого и удивительно размашистого, колоссального по объему творчества, которое нельзя было не заметить. Ему тесно в рамках общепринятых канонов поэзии, и он находит свой, васильевский, стиль, славянской песней прославив азиатскую степь, вырастает от казахстанского поэта до евразийского, оставаясь при этом великим русским поэтом.

Литературная богема не прощает ему таланта и прямоты, обращает против него всякий несдержанный поступок, создавая репутацию скандалиста, антисемита и, наконец, антисталиниста.

В Москве, на Лубянке, во внутренней тюрьме, он написал прощальные строки: *«Снегири взлетают красногруды... Скоро ль, скоро ль на беду мою...»*

Последнее подробное исследование жизни и обстоятельств смерти Павла Васильева — документальная повесть Сергея Куняева «Русский беркут». В книге учтен многолетний кропотливый труд вдовы поэта Е. А. Вяловой-Васильевой и других исследователей его творчества.

Наиболее полное собрание литературного наследия поэта — двухтомник 2009 года, составленный Л. С. Кашиной и З. С. Мерц к столетию поэта.

...Суждено мне неуемной песней  
В этом мире новом прозвенеть...

Таких стихов я еще не читала... И с чего начать о них говорить — не знаю, потому что его поэзия практически неисчерпаемое явление, многослойное и многогранное. Явление, к которому литературоведы подступались с различных сторон, но оно, на мой взгляд, так и осталось тайной, устремленной в века. Необузданная энергия, неуправляемый атомный взрыв отпущенной на свободу метафоры и ничем не напуганное новаторство поэтического строительства образа! Но при этом — такая правда! Светлая и горькая, тихая и неотступная, самая настоящая...

Павел Васильев осознавал власть высокой поэзии над временем и чувствовал в себе желание (да, наверно, и силы) постичь мастерство, подобное умению каменотеса, который способен «останавливать мрамора гиблый разбег и крушенье» и непременно хотел «жажды... в искусной этой работе». Он стал мастером, изваяв из словесного мрамора для нас и всех, кто будет после, свою эпоху, такую живую, дышащую медом и полынью, потом и кровью, пылью и солью... Он остановил время, в котором «...первые ветки раскинул Турксиб», «на длинных дудках комариных стай» поет в тростнике лихорадка, «мост первую радостью затрепетал», город поднимается из песков и «оглядывается назад», казачий косяк «среди солончаковых льдин» скачет рубить казахов «через большую тоску степей», так что кусты от страха бегут и солнце идет стороной...

Экспрессия посреди эпической поэмы потрясает, а лирическая песня раскачивает, заставляет исподволь вибрировать душу, «ведет по кружеву стиха». Роскошные образы не оставляют читателю возможности остаться сторонним наблюдателем. Ветер, река, метель, солнце... и даже времена года тоже становятся участниками событий. Ну как не поверить такому: «Звезда в продушине горит. Велит, чтоб люди крепче спали...», «Бежит... Дорога, как лисица в степях...», «Горячие песни за табунами Идут», «звонит печаль под острою подковой», «Утренняя прохлада плещется у ресниц». Вечер «...разобрал Людей по охалке», «Улицы перекликались», старый хмель ходил от ворот к воротам, «Стучался нетвердо, И если женщин Не находил, То гладил в хлевах Коровы морды»... Нельзя не почувствовать, не увидеть внутренним взором, как по степи движутся «...воды Отяжелевшего зноя», цветы, «установившись в небо, вытянув губы», ждут дождя, травы «...сухи, когтисты, Жадно сцепившись в комя земли» хотят жить, камыш «ловит нити лунных паутин». К вечеру степь приподнимается на цыпочки и нюхает «закат каждым цветком». А где-то «осиротевшие песни на корточках сели», «на тонких нитках писка» висят комары (!), петухи и кони «пьют зарю», красную, «как малахаи»...

Солнце, сопровождающее каждый день земной, перекачивается у Васильева из стихотворения в стихотворение: огромным рыжим кругом по небу идет, стоит «над большими ветвями, над косыми тенями», укрывает «багряным крылом заката», раздаривает смех, убегает рыжей лисицей, «ходит вброд» через реку или тонет, чтобы опять появиться...

...Если в Иртыше человек утонет,  
То его оплакивать остается.  
Солнце ж множество множеств дней  
Каждый день неизменно тонет,  
Для того чтоб опять подняться  
И сиять над нашей степью,  
.....  
И над всем существующим сразу...

Заря то «снегиревая», то сшита из лисиц, то течет кровью...

Кочует по стихам ветер, то сладкий и душистый, льется звеня, то горький по-лынный, упрям и суров, протяжный и косой, летит через пустыни и моря, вяжет петлей дым и клонит его к земле, рвет и гонит облака, которые «Кубарем летят, Крутятся на руках. Будто бы кто-то огромный, немой Мертвые головы катает в степи», то встанет на лыжи, «снега поднимет» «И пустит их, что стаю гончих псов, Слепнувших от близости добычи»... а то какой-то вдруг очаровательный, игривый — «...маленьким котенком У ворот в траве попрыгать рад». Ветер и тот непохож у Васильева на другие ветра, удивителен и почему-то любим...

*...Ветер скачет по стране, и пыль  
Вылетает из-под копыт,  
Ветер скачет по степи, и никому  
За быстроногим не уследить.  
Но, как шибко он ни скакал бы,  
Все равно ему ни за что  
Степь до края не перескакать,  
Всю пустыню не пересечь.  
Если он пройдет Павлодар  
И в полынях здесь не запутается,  
Если он взволнует Балхаш  
И в рябой воде не утонет,  
Если даже море Арал...  
Ему глаза камышом не выколет, —  
Все равно завязнут его копыта  
В седых песках Кзыл-Куум! Ое-й!..*

Казахстанская степь — это первый образ, представший перед поэтом от рождения. Говорят, что Васильев привнес этот образ в русскую поэзию, как Есенин чуть раньше привнес в нее образ русской деревни. Даже тот, кто родился вдали от бескрайних ровных просторов, сроднился с вершинами и косогорами, в стихах Павла Васильева начинает чувствовать эту стихию, любить и тяготеть к ней. А она завлекает читателя, «Занимается Странной игрой: То лисицу выпустит из рукава, То птицу, То круглый бурьяна куст»... Зимняя степь пугает: когда идет по ней человек — «Некому человека беречь». «Вьюга в дороге Подрежет ноги, Ударит в брови, Заставит лечь, Засыплет снегом до самых плеч!». Степь видит и слышит все, что делают люди, преобразуется их руками, «дрожжа», гостит «в глазах у верблюда», который «...скосив тяжелые глаза, Глядит на мир, торжественный и строгий, Распутывая старые дороги, Которые когда-то завязал». Следующие строки просто полны верблюжьего дыхания, раздумий старого степного богдыхана, запахов и звуков степи:

*...Захлебываясь пеной слюдяной,  
Он слушает, кочевничий и вьюжий,  
Тревожный свист осатаневшей стужи,  
И азиатский, туркестанский зной  
Отяжелел в глазах его верблюжьих.  
Солончаковой степью осужден  
Таскать горбы и беспокойных жен,  
И впитывать костров по-лынный запах,  
И стлать следов запутанную нить,  
И бубенцы пустяшные носить  
На осторожных и косматых лапах.*

*Но приглядись, — в глазах его туман  
Раздумья и величья долгих странствий...  
Что ищет он в раскинутом пространстве,  
Состарившийся, хмурый богдыхан?..*

Невольно проникаешься уважением к верблюду — вечному молчаливому кочевнику этих мест.

Но есть еще один образ, неотделимый от степи — кони. Чувствуется, что к ним у поэта особая любовь и привязанность. Даже память толкает в плечо *«теплой мордью коня»*. Конь — *«приятель розовогубый»*. Лошадиные гривы — *«косматые птицы»* — развеваются над горячими *«гривами песков»*, над снегами разметанными, над прииртышскими травами и солончаками... *«Не грива, а кориун на шее крутой»*, и путается в ней месяц или заря краснеет. В поэме *«Соляной бунт»* кони противятся предстоящей бойне. Они *«...отшатывались От убоя, Им хотелось Теплой губою Хватать в конюшенной Тьме овес, слушать утро у водопоя В солнце И в долгом гуденье ос»*.

У коней, как у людей, судьбы разные и в жизни, и в стихах. Два стихотворения Павла Васильева называются одинаково: *«Конь»*. В одном из них коню с его хозяином предстоят дороги Первой Конной.

*...В дорогах моих на таком не пропасть —  
Чиста воронья атласная масть.  
Горячая пена на бедрах остыла,  
Под тонкою кожей — тяжелые жилы.  
Взглянул я в глаза, — высоки и остры  
Навстречу рванулись степные костры...*

Впереди — *«горячие вьюги побед и боев»*, а пока *«распахнут закат полотнищем червонным»* и навстречу *«лебедями летят облака»*.

В другом стихотворении с тем же названием у коня совсем другая судьба... *«Замело станицу снегом — белым-бело»*. Вороны *«осыпались у крыльца»* хозяйского дома.

*...Ходит павлин-павлином  
В печке огонь,  
Собирает угли клювом горячим.  
А хозяин башку стопудовую  
Положил на ладонь...  
.....  
А у коня глаза темные, ледяные.  
Жалуется. Голову повернул.  
В самые брови хозяину  
Теплом дышит,  
.....  
Губы протянул:  
«Дай мне овса»...*

Улыбается где-то весна, зовет жеребятами и свадебными бубенцами, травами сочными, но слишком далека она, и не увидит ее конь, не зачерпнет копытом *«голубой небесной воды»*, а прольет на снег *«розы крупные, мятые»* из *«целованной белой звезды»*... Не сразу придешь в себя от таких строчек.

Но есть у Павла Васильева еще одно стихотворение, в котором столько необузданной лошадиной энергии, что кажется — вырвется она вот-вот из словесной ткани и



понесет нас (да еще пол-России) по снегам пуше, чем гоголевская — чудотворная васильевская «Тройка»!

*...И коренник, всюю кобенясь,  
Под тенью длинного бича,  
Выходит в поле, подбоченясь,  
Приплясывая и хохоча.  
Рванулись. И — деревня сбита,  
Пристяжка мечет, а возжак,  
Вонзая в быстроту копыта,  
Полмира тащит на возжжах!*

Эта тройка, рванувшаяся когда-то посреди русской деревни, мчится и по сей день, напоминая нам, давно забывшим тепло дышащего лошадиного крупа, что «гул машин и теплый храп коней По-разному овладевают нами». Уже тогда Павел Васильев чувствовал, что надвигающийся железный век, вооруживший человека заводами, тракторами и плотинами, одевший «железною листвою» «Пустынные родные пустыри», взорвавший «шорох прежней тишины» отнимает у него что-то очень важное, понуждая даже поэзию сдружиться с «Промышленными нуждами страны».

Ох уж эта лирика Павла Васильева! И тракторам она улыбнулась и поклонилась, не говоря уже о звездах, цветах и женщинах... «Я сам давно у трактора учусь И, если надо, плугом прицеплюсь...» Лирика его такая разная: радостная и печальная, ироничная и серьезная, задумчивая и летящая. Но она всегда о главном, даже если о комарах и лягушках!

*...Лягушка — и та поет.  
И у каждого свои голоса.  
Если бы отбубнили все комары,  
в мире б стало скучнее,  
Так квакайте, квакушки,  
летней ночью  
раздуваясь  
в прудах и болотах  
сильнее!..*

Говорят, он хотел написать цикл из двенадцати стихотворений, посвященных временам года. Не успел... Но то, что написал — потрясает художественностью. Поэма «Лето» начинается удивительными строками:

*Поверивший в слова простые,  
В косых ветрах от птичьих крыл,  
Поводырем по всей России  
Ты сказку за руку водил.  
Шумели Обь, Иртыш и Волга,  
И девки пели на возах,  
И на закат смотрели до-о-лго  
Их золоченые глаза.  
Возы прошли по гривам пенным  
Высоких трав, в тенях, в пыли,  
Как будто вместе с первым сеном  
Июнь в деревни привезли...*

Каждая строка поэмы — золотая, весома, а порой такая глубокая, что кажется — не по возрасту. Например, вот это:

*...Так, прислонив к щеке ладонь,  
Мы на печном, кирпичном блюде  
Заставим ластиться огонь.  
Мне жалко, — но стареют люди...  
И кто поставит нам в вину,  
Что мы с тобой, подружка, оба,  
Как нежность, как любовь и злобу,  
Накопим тоже седину?..*

И это в двадцать два года! Посреди рассуждений о лете. Несколькими годами позже на середину лета пришлась и его гибель. Накопить седину он не успел.

...А вот и васьильевская осень. Так тонко увиденная поэтом. И опять с грустью и особой теплотой к тому, что уже не вернется:

*...Пей печальнейший, сладостный воздух поры  
Расставания с летом. Как вянет трава —  
Ряд за рядом! Молчи и ступай осторожно,  
Бойся тронуть плакучую медь тишины.  
Сколько мертвого света и теплых дыханий живет  
В этом сборище листьев и прелых рогатин!..*

А как прекрасен васьильевский осенний дождь, который «*Легким веселым шагом ходит по саду*» и «*обрывает листья в горницах сентября*»!

В замечательной поэме «Соляной бунт» осень — другая, но опять такая настоящая! С «*лиственными кострами*», «*ярмарочными каруселями*», с дымом из трубы, падающим «*подбитым коршуном*». Мы видим, как в «*ребрах оград*» ходят лошади и «*сена наметано до небес*», «*спят в ларях Проливные дожди овса, Метится в самое небо Оглобель лес*»... Осень сыта, но в то же время она грустит, и удивительным образом вслед за ней на втором плане проступают черты зимы, разрисованные другими красками:

*...Обронила осень  
Синицы свист, —  
Али загрустила  
Она о ком?  
А о ком ей грустить?  
.....  
Али есть тоска о снегах, о зиме,  
О разбойной той, когда между пнями  
Пробегут березы по мерзлой земле,  
Спотыкаясь, падая,  
Стуча корнями?..*

Зима у Васильева порой загадочна, озорна, деятельна: «*В цветные копна и стога Метал январь свои снега*», «*Купчиху-масленицу в поле Несла на розвальнях пурга!*» В поэме «Кулаки» чудесно живо описана картинка из жизни зимы — зарождение метели, когда «*двухаршинный санный*» снег чуть пошевеливался от ветра, а в небе

*То ль рябь ходила кругами,  
То ль падал тонкий перстень луча,*



.....  
...Но медленно  
Стала обозначаться  
Свирепая, сквозь муть, голова.

И когда уже проступили  
В мутном свете  
Хитрый рот ее и глазища,  
В щель —  
Длинно закричал «на помощь» ветер,  
Набок упал, и пошла метель.

Еще не раз мы услышим в стихах «вьюг отчаянный гудеж» и голос бурь среди снегов покатых, увидим «Облака, Мешанные Со снегами», ощутим, как осторожный бурый волк, схваченный капканом, взрывает «снежный шелк» «каймою прихотной-узорной» перед тем, как отгрызть себе лапу...

Четыре времени года, четыре возраста травы, любви, мечты... Водоворот жизни, в котором весны всегда возвращаются, и опять из вековой темноты и пепла прорываются к свету цветы, в которых дышит «тепло сердечной простоты». Снова «дуреет от яблонь весна», зазывая к жизни, и «Яблони, когда цветут, Не думают о листьях ржавых»:

Весны возвращаются! Весенний  
Сад цветет —  
В нем правит тишина.  
Над багровым заревом сирени,  
На сто верст отбрасывая тени,  
Рьяно закачается луна —  
Русая, широкая, косая,  
Тихой ночи бабья голова...»

Живым — живое. И бог весть, какой век, «поднявший чаши», заманивает взор и «пирует» в камнях монастырей, где бьются черепа о черепа и «трепетных дыханий вьюга Уходит в логово свое»... Краткая человеческая жизнь и теплая рука в руке бесконечно ценнее вечного покоя холодных могильных камней: «Я б ни за что сменить не смог Твоей руки тепло большое На плит могильный холодок!»

Касаясь творчества Павла Васильева, хочется сказать особо о реализации в его стихах образов человеческих. С одной стороны эти образы — яркие меты своего времени, а с другой — в них живилена философия и красота, вечные, как сама жизнь. По праву географического родства с поэтом и важности исторической роли в стихах многократно возникает образ казака — думающего о женщине, гуляющего на свадьбе, выступающего на собрании, скачущего по степи и взмахивающего шашкой, ожидающего казни, умирающего и умершего...

...Бабий рот  
Казака манит  
Издадалече,  
Будто он держит  
Еще в руке  
Круглые и дрожливые  
Бабьи плечи.  
.....

*Но из-под недвижных  
Птичьих век  
Яростный зачинался  
Огонь...  
Как руку невесты,  
Нашла при всех  
Рукоятку шапки  
Ладонь...*

Словно одним мазком, одним штрихом, легким касанием слова, а как врезается в память такое: «У переносицы Встретились брови, Как две собаки перед грызней». Строчки — на все времена.

Вот еще один вневременной образ, понятный всем — захватывает дух от почти реального ощущения высоты и полета вместе с поднявшими тебя в небо качелями:

*...Ноги кривые  
Расставив шире,  
Парень падает,  
Неба глотнув,  
Крылья локтей  
Над собой топыря.  
.....  
И зрачки  
Глаза застелили!*

А разве это предмет для поэзии — дворовая драка? Слобода на слободу, стенка на стенку, сговор за спиной местного силача. Но у Васильева — картинка:

*...Расступайся — сила идет! —  
И вот, заслоня  
Ясный день,  
Плечи немислимые топыря,  
Сила вымахивает через плетень,  
Неся кулаков пудовые гири.  
И вот они по носам прошлись...  
.....  
Таких не брали в равном бою.  
Таких сначала поят вином,  
.....  
И за углом  
Валят тяжельми батогами.  
Таких наступают  
Темной тенью...*

Кажется, чего бы ни коснулся в своем творчестве Павел Васильев, все — от забытого песка до взволнованного человеческого дыхания — утрачивает краткий земной смысл и обретает новые сверхтонкие черты исчезающего, предназначенного будущему, художественного сгустка. Непереводимы порой васильевские образы на язык обыденный, прозаический и ни на какой другой тем более. Тончайший логический анализ не позволяет разложить до конца субстанцию васильевского стиха до предельно понятного и полностью измеримого.

А еще очень трудно представить, чтобы столь молодой человек мог написать двенадцать поэм!

В расстрельных подвалах лефортовской тюрьмы он тоже писал, не веря смерти, потому что был слишком молод.

И конечно, особого разговора в поэзии Павла Васильева заслуживают темы родины и любви. Им посвятим отдельные страницы.

4

*...Так вот где начиналась жизнь моя!..*

Энергетика стихов Павла Васильева потрясает. Стихи звенят, голосят, ликуют, а если печалются, то так надсадно, с такой любовью к жизни. Эта любовь красной нитью вплетена в его поэзию. Некоторые строки словно вибрируют, переполненные летящей радостью просто быть, дышать, видеть солнце:

*...Ну что ж!  
За все ответить готов.  
Да здравствует солнце  
Над частokoлом  
Подсолнушных простолосых голов!  
Могучие крылья  
Тех петухов,  
Оравших над детством моим  
Весельем!  
Я, детеныш пшениц и ржи,  
Верю в неслыханное счастье.  
Ну-ка, попробуй, жизнь, отвяжи  
Руки мои  
От своих запястий!..*

Но ничего не бывает просто так. У большой жизненной силы человека есть источник — наполненное любовью детство. Как правило. Вся радость человеческого бытия и все лучшее, на что мы способны в жизни, произрастают оттуда. Человеческое сердце крепко запрягивает «детство на замки», как неприкосновенный жизненный запас. В разные моменты судьбы Павел Васильев вспоминает детство с новыми интонациями, и тем теплее, чем дальше оно остается. Душа рождает «горестные песни расставанья». Через двадцать лет жизни он достает из сердца слова, трепетные настолько, что перехватывает дыхание:

*...Вот родина! Она почти что рядом.  
Остановлюсь. Перешагну порог.  
И побоюсь произнести признание.  
.....  
Так вот она, мальчишества берлога —  
Вот колыбель смятицы моей!..*

Казалось бы, что можно вспомнить из того нелегкого и по сей день смутного времени «беспутной страны» прадедов, когда мир был «тяжким ожиданием связан»? «Свет лампад» в углах маленькой деревянной избы с поющими легонько «канареечными половицами», псалмы, «пологи из ситца», «тяжелый запах сбруи и пшениц...» Иногда далекое

прошлое бывает грузом, от которого хочется избавиться. «*Вчерашнего дня Дремучий быт, не раз я тобою был опрокинут И тяжкою лапой твоею бит*». Но свет детства и юности «*ни позабыть..., ни затушить*» нельзя. Павел Васильев по-прежнему слышит воркованье «*голубей под крышей*», мысленно ищет старые удочки, на которые ловились жирные язи и по-прежнему чувствует, как «*Хорошо с поднятыми руками Вдруг остановиться, не дыша, Над одетыми в туман песками, Над теченьем быстрым Иртыша*».

Река детства, Иртыш, катит по стихам удивительные воды, завораживает, влюбляет в себя читателя. Ей поэт вновь и вновь вручает удары сердца:

*Шумят листвою тальники,  
Но справиться с собой не в силе  
На неокрепшие пески  
Густые космы распустили —  
Ой, звонок на ветру Иртыш!  
На поворотах волны гибки.  
В протоках медленных камыш  
Зеленые качает зыбки.  
Здесь в сорок лет не перебить  
От корма ожиревшей птицы  
И от Алтая до Оби  
Казачьи тянутся станицы.*

Там надежно и спокойно, как бывает только в детстве. Ведь даже «*Иртышский ущербный гнутый месяц*» уводит от бед певца своего. Весны на родине шумят по-особому, «*январь, как горностаи морозен, А лето жарче и красней лисиц*»... Поэт влюблен во все неброские мелочи тогдашней жизни: в «*печной дым и лепет огня*», «*первую пугливую звезду*», «*бисеры зимы*», «*ворон одежду вдовью*»... Непонятая первая любовь не забудется никогда...

Но мир остальной, познаваемый первоначально через «*оконное стекло, Намсмешливый, огромный и недоступный*» «*звал бежать за тридевять земель*», манил во взрослую жизнь. И Павел Васильев уезжал.

Привязанность сердца к родным местам тяготила, заставляя поэта приготовить для памяти «кнут» и надрывно над ней прокричать: «*Хлеци ее по морде домоседской, По отроческой, юношеской, детской!*»

Это потом он обращается к прошлому со словами: «*Далекий край, неожиданно про- блесни...*» и мечтает: «*Чтоб родины далекие огни... затосковав, бежали*» навстречу. Курганный ветер, сытые коровы, багровая сирень, амбары с лабазами, тополиный шелест, старая колокольня и приветливый дом — все это осталось в родном купеческом городе Павлодаре, которому поэт посвятил немало очень теплых строчек:

*...Сердечный мой,  
Мне говор твой знаком.  
Я о тебе припомнил, как о брате,  
Вспоенный полносочным молоком  
Твоих коров, мычащих на закате,  
Я вижу их, — они идут пыля,  
Склонив рога, раскачивая вымя.  
И кланяются низко тополю,  
Калитки раскрывая перед ними.  
.....  
И дни летели, ветреные сами.  
Играло детство с легкой волной...*

В стихотворении «Дорога» поезд, увозящий поэта от родных мест, сквозь дым и ветер бросается навстречу полосатому чужому миру, рвет безоглядно «Застегнутый наглухо Ворот степеней», напоминая нацеленную вперед стрелу времени, которая никогда не повернет вспять... И лишь человеческое сознание, под стук колес, под холодным пристальным взглядом мироздания способно на виртуальные экскурсии в прошлое, давая душе кратковременное успокоение, возвращая картины детства:

*...Там к рекам спешила  
Овечья Россия  
И к мутной воде  
Припадала губой,  
А тучи несметные  
И дождевые  
Сбирались,  
Дымились  
И шли на убой.*

*.....  
Оттуда неслась к нам  
Глухие припевы  
Далекой и с детства  
Родной высоты...*

Через многие годы в минуты радостные и грустные «прекраснейшее далеко Начинает большими Ветвями шуметь», и к поэту возвращаются не только дорогие сердцу места, но и близкие, родные люди...

«Неуступчивый, рыжеволосый, с дудкою старой» «дедко» Корнила Ильич снова рассказывает сказку, ходит к реке, играет на дудке. Опять летают песни, «как белые перья, Как пух одуванчиков над землей» и кружатся ночи рябые «От звезд, сирени и светляков». В одном из стихотворений Павел Васильев мысленно обращается к деду:

*...Теперь бы время сказкой потешить  
Про злую любовь, про лесную жизнь.  
Четыре пня, как четыре леших,  
Сидят у берега, подпершись...*

Чудища, птица гусь и рыба язь жили в тех сказках. Песни-погудки, побаски и присказки, «богатство Древних песен... Звон частушек» и большое небо родины тоже достались поэту по наследству. Через годы, вспоминая деда, внук дарит читателям удивительный, мощный образ непрекращающейся жизни:

*...И лучший удел — что в забытой яме,  
Накрытой древнею синевою,  
Отыщет тебя молодыми когтями  
Обугленный дуб, шелестящий листвою.  
Он череп развалит, он высосет соки,  
Чтоб снова заставить их жить и петь,  
Чтоб встать над тобою живым и высоким,  
Корой обрастать и ветвями звенеть!*

Жизнь продолжается. И Павел Васильев переселяет героев дедовских сказок в новое время. Мы узнаем в его творчестве многие издавна знакомые персонажи, видим их по-иному в сказочных мотивах, привнесенных в стихи и поэмы:

*...Да то не сказка ль, что по длинной  
Дороге в травах, на огонь  
Играя, в шубе индюшиной  
Без гармониста шла гармонь?  
Что ель шептала: «Я невеста»,  
Что пух кабан от пьяных сал,  
Что статный дуб сорвался с места  
И до рассвета проплясал...*

В других строчках перед нами появляется дом «на медвежьих ножках», из глухих труб которого «кубарем с дымом летят грехи», «Пляшут стерляди под окошком, И на ставнях орут петухи». А вот и принарядившаяся по-новому наша старая сказочная знакомая: «Без уздечки, без седла на месяце востром Сидит баба-яга в сарафане пестром».

Иногда мы слышим у Павла Васильева идущую из детства, особую песенность и необыкновенно красивый говор, все чаще забываемый нами сегодня: «У тебя кольцо горело На руке. О ту пору птаха пела Вдалеке... Развяжу шелковый пояс, Не беда. За кольцом нырну и скроюсь Навсегда...» Или вот это:

*...— Ты скажи-ка мне, сестра,  
Чей там голос у тебя,  
Чей там голос  
Ночью раздавался?  
.....  
— Ты послушай, родной брат,  
Это струны на разлад,  
На гитаре я вечор играла...*

Через всю поэзию длится непростой, но очень сердечный разговор с самым дорогим для Павла Васильева человеком — матерью, Глафирой Матвеевной. Этот разговор меняет интонацию и силу по мере того, как меняется сам поэт: от мальчишки, второпях покинувшего родительский дом, до узника, ожидающего приговора. Некоторые стихи, посвященные матери, исповедальные. В стихотворении «Глафира», предаваясь «терпким и тяжелым» воспоминаниям молодости, он проходит вместе с ней по «выжженным следам» прошлого, где уже который раз трава «перекипала» «зеленой пеной», и признает «извечную жестокость» жизни:

*...Все то, что было дорого тебе,  
Я на пути своем уничтожаю.  
Мне так легко измять твою сирень,  
Твой пыльный рай с расстроенной гитарой,  
Мне так легко поверить, что живет  
Грохочущее сердце мотоцикла!..*

Это искреннее признание сына, которого влечет новая, необъятная жизнь. Он, как все сыновья, слушает «...трубы Любви и боя», и некогда ему вымеривать «на ощупь, на кусок Значение мира» и рыть «в башке своей» «залежи чувств»!

*...Теперь к черту  
На кривые рога  
Летят ромашки, стихи о лете.  
Ты, жизнь,*



*Прекрасна и дорога  
Тем, что не уместись  
В поэте...*

Но постепенно восторг от новой жизни затихает... и хочется вернуть старое:

*... Чтобы пели люди под гармонию,  
Пели дрожжи в бочках и корытах.  
Я хочу вернуть себе огонь  
У котла в глазах полуоткрытых.  
Я хочу вернуть мою родню...*

Меняется и образ матери. Со временем он становится более значащим, а интонации, связанные с ним, более элегическими:

*... Ты расскажи мне, молодость, почему ж  
Мы странную испытываем дрожь,  
Родных дорог развертывая свиток,  
И почему там даже воздух схож  
С дыханьем матерей полузабытых?..*

Через двадцать лет над родным Поречьем «те же журавли... и то же небо», но голос поэта уже доносит до нас тревогу, растерянность, переживание грусти, и мы слышим откровение: «Пускай прижмется теплою щекой К моим рукам твоё воспоминанье, забытая и узнанная мать, — Горька тоска...»

Надсадность души, ощущение расставания и одиночество последних месяцев жизни наполнили стихи о близких и дорогих людях силой самого высокого сердечного переживания. Последние слова о них Павел Васильев произнес непереносимо надрывно, непередаваемо печально, не по возрасту мудро и мистически проникновенно...

## 5

*...Вся ситцевая, летняя приснись...*

Даже ранняя любовная лирика Павла Васильева трогательна и тонка:

*...И вот сейчас готов расслышать я  
В осенних скрипках звучных и мятежных,  
Что ты опять, как не было, моя  
И руки у тебя задумчивы и нежны...*

У стихов о любви — особое предназначение: ими проверяется масштаб поэта; хотя иногда кажется, что такие стихи наиболее легки, просто льются. Наверное, потому что любовь, пусть даже ушедшая, несчастная или возможная — питает поэзию, создает чувственный раствор-расплав, из которого потом прорастает душа стихотворения.

*...Я поцелую тяжкие ресницы,  
Как голубь пьет — легко и горячо.  
И, может быть, покажется мне снова,  
Что ты опять ко мне попала в плен  
И, как тогда, все будет бестолково —*

*Веселый зной загара золотого,  
Пушок у губ и юбка до колен.*

Первые известные стихи о любви появляются у Павла Васильева в шестнадцать лет. Последние — в двадцать шесть. Десятилетие, в котором он спешил жить, творить и любить. Десятилетие стремительного взросления поэта вместе с его чувствами к женщине и стихами об этом. Но в ранней любовной лирике есть какая-то трогательная особенность, чарующее переплетение детскости, восторга и мудрого отношения к тайне на двоих:

*Дальше? — Дальше по-новому старое.  
Дальше? — Дальше расскажет весна.  
Дальше — знают лишь оченьки карие  
Да бездонные ночи глаза!*

К двадцатилетнему поэту имя любимой приходит «словно старая песня», «Кто его запретит? Кто его перескажет?» В это время мир вокруг не вызывает радости бытия и полета души, «голодной собакой шатается горе», а «на сердце полынь да песок». Любовь призвана спасти от скуки, тесноты, неприкаянности, и он зовет ее на помощь: «Подойди же ко мне. Наклонись. Пожалей! Полюби хоть на вьюгу, на этот часок...»

Женщина у Васильева бесконечна в своих проявлениях. Она зовет его «шелком разогретым», «недоступным и косым» взглядом из-под ресниц, могучим перекатом волос, улыбкой, которая цветет в подкрашенных губах. В одном из стихотворений под звездами Семиречья происходит прощание. Перед нами «девушка со строгими глазами, навсегда готовая простить...» И совершенно по-особому «...в последний раз... Развязавшись поползли на плечи Крашенные волосы...» Она заставляет мучиться и признавать: «Я бредил горько теплыми следами Случайных встреч — и ты тому виной». Женщина овладевает его душой и доводит до иступления: «Далекая, проклятая, родная, Люби меня хотя бы не любя!»

В стихах мы встречаем немало женских имен: Галя, Нина, Настя, Наталья, Елена... Есть стихи о любви безымянные. Говорят, что женщины Павла Васильева спорили впоследствии, кому поэт посвятил те или иные строки. Еще бы! Какая женщина не мечтала бы о таких посвящениях:

*...Я клянусь,  
Что средь ночей мгновенных,  
Всем метелям пагубным назло,  
Сохраню я —  
Молодых, бесценных,  
Дрогнувших,  
Как дружба неизменных,  
Губ твоих июньское тепло!..*

Или вот это:

*...Мне ничего не надо — только быть  
С тобою рядом и, вскипая силой,  
В твоих глазах глаза свои топить —  
В воде их черной, ветреной и стылой...*

Наверное, он влюблялся не однажды. Но, похоже, всегда до трагичности, до боли, без меры. Первой жене, Галине Анучиной, посвящено признание: «И самой лучшей из

моих находок Не ты ль была? Тебя ли я нашел, Как звонкую подкову на дороге, подругу счастья?..» Любовь к Нине Голицыной выплеснулась строчками: «Как с камнем перемешана земля, Так я с тобой...» А «Стихи в честь Натальи» особенно легки:

*Я люблю телесный твой избыток,  
От бровей широких и сердитых  
До ступни, до ногтей люблю,  
За ночь обескрылевшие плечи,  
Взор, и рассудительные речи,  
И походку важную твою.*

*А улыбка — ведь такая малость!  
Но хочу, чтоб вечно улыбалась —  
До чего тогда ты хороша!  
До чего доступна, недотрога,  
Губ углы приподняты немного:  
Вот где помещается душа.*

Образ женщины нарисован Васильевым так филигранно и одновременно поэтично, что кажется, будто женщина, вся, до последнего волоска, задумана природой как предмет искусства. Заглянем, например, в стихотворение «Дорога»:

*Я знаю: от ступни и до виска  
Есть много жилок, и попробуй тронь их —  
Сейчас же кровь проступит на ладони,  
И сделается тоньше волоска  
Твое дыханье, и сойдет на нет.  
Там так темно, что отовсюду свет,  
Как рядом с солнцем может быть темно,  
Темно от звезд, тепло как в гнездах птичьих,  
И столько радостей, что мудрено постичь их,  
И не постичь их тоже мудрено.*

Постижение женщины Васильевым удивляет и потрясает. Всякая ли женщина знает себя настолько, насколько увидел женщину он?..

Похоже, ни один другой язык не устроил бы Павла Васильева для выражения чувств — у каждого, подходящего к женскому образу русского слова, своя смысловая гамма и свои полутона: медынь, забава, рыжая, бесстыдная, ароматная...

Соседка ли, ведущая поить коней, или случайно встреченная в вагоне спутница, в зеленых глазах которой нежится весна, женщина, которая с ним рядом, всегда для него восхитительна, и он ей благодарен.

*...Жеманница! Ты туфель не сняла.  
Как высоки они! Как высоко взлетели!  
Нет ничего. Нет берега и цели.*

*Ты не имеешь права равной быть.  
Но ты имеешь право задыхаться.  
Ты падаешь. Ты стынешь. Падай,  
стынь...*

*И мы в плену пустынного обмана,  
Переплелись, не разберешь — кто где...  
— Плутовка. Драгоценная. Позор...*

Строки удивляют откровенностью, но не вызывают протеста: сугубо личное, сокровенное становится фактом поэзии.

Придумывая в любовных отношениях огонь и угадывая зрелость тоски, Павел Васильев оказывается юным мудрецом, который в двадцать два осознает грустную конечность любви, ее трагичность:

*...И не хочу, чтоб, вьюн в цвету,  
Ты на груди моей завяла.  
Все утечет, пройдет, и вот  
Тебе покажутся смешными  
И хитрости мои, и имя,  
И улыбающийся рот...*

А в двадцать три он уже прощается с молодостью: «*Последний раз затеем хоровод Вокруг того, что молодостью звали*». Откуда это ощущение? Пророчество, предречение, угадывание скорого конца, которое всегда было свойственно гениям?

Однажды слово «любовь» зазвучит в его стихах по-новому, собственночески, со страхом потерять. В этот раз оно обращено ко второй жене — Елене:

*И пускай попробуют  
Идти войною  
На светлую тень  
Твоих волос!*

.....

*Спи, я рядом.  
Собственная, живая,  
Даже во сне мне не прекословь.  
Собственности крылом тебя прикрывая,  
Я охраняю  
Нашу любовь.*

Способностью любить Павел Васильев наделил и своих героев. Мастерский прием, с помощью которого высвечиваются многие другие важные смыслы. В поэме «Соляной бунт» мы присутствуем на свадьбе казака и шестнадцатилетней девушки Насти. Настя «самая белая», «самая спелая», с косой до пят. Зашумела свадьба «Гроздью серебряных бубенцов». «*Стол шатая, Встает жених. Бровь у него летит к виску... Он, словно волка, гонял тоску, Думал — О девке суженой*». Среди гульбы и гостей «*За локоток невесту берет*» и ведет «*Кружить ее — птицу слабую*». И разворачивается перед нами не просто танец двоих — с трудом сдерживаемая страсть с биением сердца, ожиданием счастья медового и любви долгой:

*...Зажать ее всю  
Легонько в ладонь,  
Как голубя! Сердце услышать,  
Пускать и ловить ее под гармонь,*

.....

*В глаза заглядывать,  
Ласку пить...*

Но это начало поэмы. Неотделима любовь от всей жизни. От войны и смерти. Впереди — соляная трагедия богатой казахской земли. Поскачут вскоре казаки рубить «кыргызые», их стариков и детей, и девок, таких же молодых, как Настя, только с глазами темными, да кричать друг другу — «не жалеи»... Выпьет казахская земля много разной крови. А жены с русыми да смоляными косами будут одинаково тоскливо оглядывать степь и слушать топот конский, ожидая мужей, и одинаково горестно оплакивать их тела. А где-то в станицах и аулах будут бегать смешанные дети...

Любая любовь всегда трагична. Но особая трагедия — в неразделенной любви азиата к русской женщине. В «Стихах Мухана Башметова» боль Мухана ощущается, как своя.

*...Ты уходила, русская! Неверно!  
Ты навсегда уходишь? Навсегда!  
Ты проходила медленно и мерно  
К семье, наверно, к милому, наверно,  
К своей заре, неведомо куда...*

.....  
*Ты уходила в рыжине и славе,  
Будь проклята — я возвратить не вправе, —  
Будь проклята или назад вернись!..*

Даже конь готов зарыдать, если бы не удила, и над степью стоит великая тишина. При этом — ни одного слова «любовь», хотя все только о ней... до безысходного отчаяния, до безумства:

*...Но я бы стер глаза свои и скулы  
Лишь для того, чтобы тебя вернуть!..*

Обида, ненависть, желание умереть, казалось, затмевают все, но... среди проклятий встает неизгладимый из памяти образ:

*...Да, ты была сходна с любви напевом,  
Вся нараспев, стройна и высока,  
Я помню жилку тонкую на левом  
Виске твоём, сияющем нагревом,  
И перестук у правого виска.*

.....  
*Я помню все! Я вспоминать не в силе!  
Одним воспоминанием живу!..*

Величайшая драма человеческой жизни. Лучшая мировая литература — об этом. Выживет ли герой Павла Васильева, сожалеющий о своей молодой силе и крепости? Можно надеяться, если обратить внимание на строки: «*И как я смел сердечную заботу  
Поставить рядом со страной своей?*» Но это только попытка помочь себе самому, как эти слова, похожие на заговор:

*...Я, Мухан Башметов, выпиваю чашку кумыса  
И утверждаю, что тебя совсем не было.  
Целый день шустрая в траве резвилась коса —  
И высокой травы как будто не было.*

*Я, Мухан Баиметов, выпиваю чашку кумыса  
И утверждаю, что ты безобразна,*

.....  
*Единственный человек, которому жалко,  
Что пропадает твоя удивительная краса...*

В этом стихотворении все предельно понятно. От любви спасения нет. Но, чтобы человек выжил, его любовь должна вырасти до космических размахов и стать мудрой, но обременяющей, не требующей ничего взамен. Она остается вместе с Муханом, но превращается в любовь, желающую предельного — счастья с другим.

По волнам любовной лирики Павла Васильева можно путешествовать очень долго и не переставать удивляться, находя там все новые и новые восхитительные подтверждения касания этой темы рукой мастера.

Но поразительно то, как быстро на протяжении всего творчества поэт набирает силу, взрослеет в своих чувствах и способах их выражения, словно предназначенные для постижения тонкостей жизни годы, месяцы, дни давно сочтены...

## 6

*...Прощай, прощай,  
прости, Владивосток...*

Для нас, владивостокцев, особенно дорого сопряжение судьбы Павла Васильева с Дальневосточным краем. Мы не знаем, что повлекло его тогда в столь удаленные от родины места, но интерес шестнадцатилетнего поэта к тихоокеанским берегам на заре своего творчества можно сегодня рассматривать как подарок судьбы нам.

В 1926 году Павел Васильев оказывается во Владивостоке. На одном из вечеров в стенах Дальневосточного государственного университета он знакомится с поэтом Рюриком Ивневым и журналистом Львом Повицким, увидевшими в его ранних юношеских стихах прорывающийся незаурядный талант, показавшийся им немного схожим с есенинским.

В актовом зале университета друзья организовали молодому поэту первое публичное выступление, а шестого ноября 1926 года во владивостокской газете «Красный молодец», предшественнице «Тихоокеанского комсомольца», состоялась первая в его жизни публикация. Увидело свет стихотворение «Октябрь», за которым вскоре последовало стихотворение «Владивосток».

После смерти Сергея Есенина Рюрик Ивнев вспоминал: *«Нет, понял я, не умрет русская удаль, русская стать, русская храбрость слова, за Сергеем Есениным Павел идет. Павел пришел, невероятно талантливый, чуть на него похожий, только резче, объемнее, размашистее — от моря до моря!»*

Владивосток, воспринятый глазами юного Павла Васильева, остался в нескольких его стихотворениях. Вот так он увидел одну из бухт среди подкравшегося, *«как кошка к добыче»*, вечера:

*...Бухта дрожит неясно.  
Шуршат, разбиваясь, всплески.  
На западе темно-красной  
Протянулся закат полоской.  
А там, где сырого тумана  
Еще не задернуты иторы,*



*К шумящему океану  
Уплывают синие горы.*

В другом раннем стихотворении мы видим бухту, напоенную до дна «лунными иглистыми лучами». В ней «белым шарфом пена под веслом» и в вышине «неба шелковый ковер», уронивший «бусами стеклянными» звезды. Все это располагает автора к размышлениям о душе, просторе и радости жизни. Задевая «лицом за лунный шелк», он хочет «купаться в золоте улыбок» и не торопит «тяжелое весло»...

Пребывание во Владивостоке было недолгим. В 1927-м, уезжая, он бросает на наши края «последний взгляд» и укладывает в красивое прощальное стихотворение последние «смятые минуты»:

*...Прощай, прощай, прости, Владивосток.  
Прощай, мой друг, задумчивый и нежный...  
Вот кинут я, как сорванный цветок,  
В простор полей, овянных и снежных.  
.....  
Я не хочу на прожитое вить, —  
Но жду зарю совсем, совсем иную,  
Я не склоню мятежной головы  
И даром не отдам льянью!..*

Впереди у Павла Васильева — длинная дорога по большой стране, строящей новую, доселе невиданную жизнь, в которой ему очень хотелось пригодиться. Где-то там, еще далеко, призывно маячат куполами Москва — магический центр притяжения всего талантливого и... вскоре большая братская могила расстрелянных «врагов народа».

После гибели Павла Васильева у Рюрика Ивнева родились строки, еще раз, уже посмертно, связавшие поэта с нашим городом:

*Я помню осеннего Владивостока  
Пропахший неистовым морем вокзал  
И Павла Васильева с болью жестокой  
В еще не закрытых навеки глазах.*

А что же сделали мы, владивостокцы, чтобы увековечить в истории города это краткое касание с судьбой гения?

7

*... Что ты, песня моя,  
Молчишь?..*

«Без памяти люблю людей», — писал когда-то Павел Васильев, «не замечая злобы» недругов своих. И только потом пришло понимание: «Песня моя! Ты кровью покормила Всех врагов». Он почувствовал, что «этот мир настоян на огне» и что «За каждую песню уходит плата» молодостью...

К нему, не умеющему «в поэмах врать» и «прибавлять гляncy», «жесткие руки» жизни подступали все ближе, и ночи, умевшие «звезды толочь», все больше годились для тяжелых раздумий:

*...Вспоминаю я город  
С высокими колокольнями  
Вплоть до пуповины своей семьи.  
Расскажи, что ль, Родина, —  
Ночью так больно мне,  
Протяни мне,  
Родина, ладони свои...*

Неотступно приходило ощущение расставленных повсюду «волчьих ям». И совершенно прискорбно, что замышлялись эти «ямы» за его спиной братьями по перу... Но оружием его, «буяна смиренного», было только слово: «Скажи, куда нам удалиться От гнили, что ползет дрожа, От хитрого ее ножа?»...

Он чувствовал близкую расправу и поэтому прощался. Прощался так, что можно содрогнуться:

*...Есть такое хорошее слово — родня,  
От него и горюется, и плачется, и поется.  
Я его оттаивал и дышал на него,  
Я в него вслушивался. И не знал я сладу с ним.  
Вы обо мне забудете, — забудьте! Ничего,  
Вспомню я о вас, дорогие мои, радостно...*

Трудно поверить, что эти строки принадлежат двадцатипятилетнему человеку. Каков он, предел возможностей Павла Васильева? Мы никогда не узнаем об этом. Но даже то, что поэт успел оставить нам за свою короткую стремительную жизнь — огромно, уникально и потрясающе талантливо.

«Запомни... Павел Васильев... поэт... русский...», — его последние слова из тюрьмы перед смертью, сказанные в надежде, что их передадут нам.

Пятого января 2020 года подойдет 110-летний юбилей вечно двадцатисемилетнего Павла Васильева. Во многих памятных местах пройдут васильевские чтения. О нем напишут газеты...

Но не пришла ли пора поднять певца на пьедестал подобающей высоты, не побояться произнести признание: дать его имя улицам и скверам, библиотекам и площадям, включить его творчество в школьную программу?

Разве не в наших силах раскрыть книгу его стихов и удивиться красоте и роскоши родного русского языка?

Разве исчезла в нас жажда постижения родины, красоты, любви и самих себя, наконец?..

